

Тотопка.temp



Сергей Игнатьев

Родился в 1984 году в Москве. В периодике публикуется с 1999 года. Автор фантастических романов «Игры на кровь», «Снежный вампир», «Ловец тумана». Рассказы печатались в межавторских сборниках и антологиях, в журналах «Уральский следопыт», «Полдень, XXI век», «Мир фантастики», «Азимут», «Меридиан». Живет в Москве, работает в сфере рекламы.

Медведя звали Тотопка. Происхождение его имени совершенно забылось, внешность его была самая отталкивающая, а биография — примечательная.

Он верой и правдой служил еще моему деду, который в те крайне отдаленные времена был страстным поклонником Жюль Верна, пиратов и прочей поэзии дальних странствий, отчего медведь носил прозвище Штурман.

В эпоху отцовского детства медведя ждала в некотором смысле опала. Он был отодвинут на дальний план японскими роботами-трансформерами, солдатами и действующими моделями боевой техники и практически забыт.

Ко мне он попал по бабушкиной протекции, в тяжелую пору моей борьбы с вирусным гриппом. Вдохновенно окрещенный Тотопкою, медведь был тотчас принят на борт и зачислен в команду линкора. Линкор стоял на приколе, в глухой обороне, укрытый толстым ватным одеялом, укрепленный по своему периметру (если такой термин применим к кораблю) подушками, был непрерывно обстреливаем микстурами и горькими сиропами, чьи батареи выстроились окрест, непрерывно атакуем волнами противных на вкус полосканий и бурунами использованных носовых платков.

Кроме Тотопки на борту уже находились: вполтину изрисованный альбом с очкастым Гарри на обложке, разноцветные карандаши в ассортименте, две зачитанных иллюстрированных энциклопедии, потертый КПК, лорд Вейдер с парой верхних штурмовиков, робот-аннигилятор с оторванной ногой, скрывающий в своем животе грелку плюшевый лось по прозвищу Синяк и плюшевый же пес по прозвищу Собака.

Некогда медведь был темно-шоколадного окраса, но выцвел до светлых карминовых тонов. К гру-

шевидному телу его крепились несколько коротковатые лапы и голова, напоминающая перевернутую луковичу. Глаза у него были маленькие и янтарно-желтые, немного помятые уши, скорее, подошли бы пинчеру, а нос был тщательно заштопан черной ниткой.

Словом, он был урод.

Но внешность на мое отношение к нему никак не влияла.

Медведь Тотопка был исконным обитателем академической квартиры с окнами на проспект. Он был молчаливым свидетелем моих многочасовых сидений над книгами из обширной дедовской библиотеки, и перед монитором компьютера, и над тетрадями с домашним заданием, был свидетелем бесславной эпопеи с фортепианными уроками и даже того постыдного эпизода, в котором фигурировали футбольный мяч, бронзовый бюстик академика Павлова и китайский фарфор, о котором, как я надеялся, не знала больше ни единая живая душа...

Думать о Тотопке я начал, перестраиваясь на правый ряд и сворачивая на съезд с Восьмого транспортного. Дождь моросил почти без перерывов со вчерашнего вечера, сплошной поток машин уплывал в туман, и где-то там, в тумане, мигал огнями строящийся у развязки молл-центр. В салоне моей старушки-«Печоры» резвились невидимые Men Without Hats со своим Safety Dance. Над съездом тускло фосфоресцировала партийная растяжка с лозунгом «инновации — в жизнь». Скользя взглядом по логотипу с медведем, я дал газу, «Печора», взревев, пошла под уклон, а воспоминания уже понесли меня к моему давнишнему приятелю Тотопке, тоже, в своем роде, медведю.

Теперь я стоял в пробке, впереди помаргивали красные габариты автобуса продуктовой доставки,

и размахивающий пиццами клоун на ее крыше выглядел под дождем хмурым и злым.

Я думал о Тотопке.

В тот вечер, когда медведь со своего наблюдательного пункта на книжной полке имел удовольствие лицезреть мое возвращение с выпускного — красная лента через плечо, пиджак измазан штукатуркой, в руке ананас (откуда? — вряд ли уже узнаю), судьба моя была уже определена. Ну кем прикажете становиться тому, чья бабушка в тот же выпускной вечер перечитывала конспект будущей лекции по нейрохирургии на рейсе «Москва — Сиэтл»? Чей дед в то же самое время, выставив перед собой уже продезинфицированные и обтянутые латексом руки, рассказывал медсестре, подносящей ему на зажиме сигаретку, шутку про старичка и противовоспалительные свечи... А родители, последние романтики неромантической эпохи, почти не принимавшие участия в моем воспитании, в обнимку тряслись в тот же вечер (который у них там был уже утром) под косыми струями тропического ливня, в кузове грузовика, набитого ящиками с вакциной и солдатами в мокрых белых касках с черными буквами UN...

Поэтому вполне естественным было то, что следующие шесть лет в янтарных глазках медведя отражался мой скособоченный профиль, клюющий носом над кирпичом фармакологии, и развешанные по всей комнате для запоминания страницы анатомических атласов, похожие на рекламный проспект мясокомбината, и доносился до Тотопки сквозь стеклянную дверцу шкафа монотонный бубнеж зубримой мной латыни, порой прерываемый смачным зевком...

Позади раздалось улюлюканье сирены, я посмотрел в зеркало заднего вида. Сквозь нити дождя плеснули красные и синие сполохи. По разделительной,

маневрируя между бортами застрявших в пробке, продирался автобус «скорой». Отсюда было рукой подать до госпиталя Гольдштейна, где мне часто приходилось бывать. Особенно часто после произошедшего с дедом четыре с половиной года назад. А когда все утряслось и он начал работать там, несколько раз звал в гости, но все появлялись какие-то неотложные дела, и все было некогда. Скорее всего, он и сейчас находился там, на очередной смене. Проведать что ли старика, подумал я. Хотя зачем — только зря отвлекать...

Пробка тронулась, поток медленно пополз вперед. А я снова думал про Тотопку.

Когда я проходил интернатуру, покинув родительский кров, медведя со мной не было. Не видел он той ночи, когда я потерял первого пациента и пытался в одиночку справиться с этим при помощи бутылки плохого коньяка, не видел он ни Оксану, ни Марину... И Катю он не видел... Впрочем, ее я приводил знакомиться с дедом и бабушкой — так что он ее вполне мог оценить со своего неизменного места во время торжественного чаепития в гостиной (она же — бывшая Славина комната). Катя тогда тоже оценила все великолепие академической квартиры и потом иногда смотрела на меня другим, новым взглядом, что-то вроде «теперь-то понятно...», хотя что ей могло быть понятно?

Когда всем стало ясно, что хирурга, продолжателя династии, из меня не получится, когда закончились укоризненные взгляды и многозначительные кивания головой, а я прочно обосновался в приемном сорок второй клинической, начал понемногу публиковаться и уже подумывал о создании домашнего очага — тогда же Тотопка переместился в мою холостяцкую квартирку. Там же временно обретался уже успевший погубить свой брак Туркин. Ему мед-

ведь пришлось по вкусу: «Апупейный зверь, Спасский, нечто былинное!»

Следовательно, Тотопка мог видеть и мой исторический разговор с Гольдштейном, который в своем экстравагантном духе позвонил мне прямо домой, неизвестно в какой базе данных откопав номер. Впрочем, его исследования уже тогда курировала Контора и какие только базы ему не были доступны.

Когда я перешел на стажировку в гольдштейновский НИИ, Туркин уже съехал от меня. Требовал подарить медведя на память о нашей холостяцкой жизни, но я был непреклонен. Спустя несколько месяцев в квартире начала обживать Алину, которая довольно быстро потребовала избавиться от «этого чудища». Тотопка был заточен на антресоли, в картонную коробку, где навсегда упокоились и другие предметы из закончившейся холостяцкой эпохи, вроде моего форменного халата со стихотворным автографом Сидорчука или разборной модели черепа «артикул 291», который долгое время стоял у нас с Туркиным на холодильнике, и даже того экстравагантного подарка Туркина (сколько секс-шопов он тогда облазил, интересно) на мой день рождения, который вызвал у Алины настоящую истерику.

Томясь в коробке, Тотопка не видел всех тех вечеров и утр (выходных у нас почти не было), которые сопутствовали моему пребыванию в группе Гольдштейна. Уже вышли первые статьи Сугимото и американцы синтезировали первые образцы ELV, немедленно окрестив его «Элвисами». А у нас были только наброски, наработки, первые формулы закрытого цикла, только приблизительные схемы репликаторов.

Во время нашего с Алиной бракоразводного процесса Тотопка уже занял положенное ему место — на телевизоре, рядом с моделью черепа «Артикул

291». Подарок Туркина был слишком экстравагантен даже для этой композиции, символизирующей новый виток моей холостяцкой жизни, тем более я рассчитывал, что квартиру мою в скором времени снова начнут посещать женщины.

А потом нам стало не до женщин. Нам стало вообще ни до чего, кроме работы, потому что у нас наконец-то стало что-то получаться.

Мы завершили тестирование КРЗЦ-4 «Горбунок», и результаты оказались блестящими. Результаты были самое что ни на есть «Оки-токи», как я любил говорить в глубоком детстве. После провала «Царевича», после гибели любимчиков лаборанток всех возрастов — кроликов Грина и Росса, после катастрофы с КРЗЦ-3 «Василиса», из-за которой Гольдштейн не пошел под суд только потому, что единственным пострадавшим и истцом мог быть лишь он сам... У нас наконец получилось.

Тотопка был свидетелем моих взлетов и падений, моего триумфа. Он кочевал со мной с квартиры на квартиру, пока, наконец, не осел в свежестроенном семейном гнезде — загородном доме под Истрой. Дети мои не проявляли к нему никакого интереса, а для меня он так и остался каким-то неразгаданным символом — может, моей собственной жизни, может — жизни вообще.

Так я думал, переживая пробку на съезде с Восьмого Транспортного в сторону области.

Дождь выбивал по стеклу монотонную дробь, с шипением ползали дворники. В сумрачной дождливой дымке впереди мигали цветными огнями предупреждающие знаки дорожных работ. Старушка-«Печора» утробно ворчала, нетерпеливо дожидаясь возможности сорваться с места, втопив на все свои семьсот лошадиных и семь тысяч оборотов, а из динамиков торопились на волю первые (са-

мые заводные!) аккорды незабвенной Baba O'Riley группы The Who.

Наконец, снова тронулись, съехали на трассу, я перестроился в левый ряд. Впереди и слева, за разделительным барьером, на встречной, густо загудело, яркие огни прорвались сквозь завесу дождя...

...Все остальное происходило уже не со мной, а с кем-то другим, на кого я смотрел как бы со стороны. А может, и не смотрел, может, просто в последних искрах угасающего рассудка пришли картинки, которые мне приходилось видеть и до этого, и сложились в последнее завершающее мозаичное полотно.

Кого-то другого под вой и улюлюканье сирен, в чередовании красных и синих вспышек, вытаскивали из покореженного металла, из сложившейся гармошкой «Печоры», которая была, конечно, отличной тачкой, но столкновение в лоб с вырвавшейся на встречу фурой оказалось не по зубам даже ей...

Кто-то другой трясся в карете «скорой помощи», несущейся к ближайшему госпиталю, носящему фамилию Гольдштейна. Человека, совершившего самый блестящий прорыв в медицине 21-го века. Моего бывшего начальника, моего извечного наставника.

Все это происходило с кем-то другим, сжатым в корсете и ремнях, летящим куда-то сквозь шум приемного отделения, под грохот колес каталки по кафельному полу, под бормотание фельдшера, нависшего сверху с капельницей на вытянутой руке...

Над кем-то другим срывающимся голосом спрашивал мальчишка-интерн в забрызганной чем-то темно-красным мятой голубой рубашке.

— Сколько «скорых» уже?

— Шестнадцатая на подходе! Там на трассе звиздец вообще...

Не мое, а чье-то другое тело мучительно содрогнулось, когда каталка налетела на угол операционной. Это другое непослушное тело сотрясали конвульсии. И какой-то рыжий в белом халате, со злобным перекошенным лицом (наверняка дежурный ординатор) орал, подбегая:

— Сюда его, живо!

Дыхательная трубка входит в горло. Обтянутые латексом руки цепляют на грудь электроды кардиографа.

— Несколько минут назад произошла остановка дыхания.

— Имя узнали?

— Сейчас, тут бумажник... Станислав Спасский... О, Боже! Это что же...

— Тот самый?!

— Не отвлекайтесь! Согласие на «керзац» подписано?

— Сейчас, дайте... Нет, нету!

— Как это нету?!

— Надо связаться с родственниками...

— Погодите! У нас какой-то Спасский работает, я слышал вроде родн...

— Беги за ним, быстро!

— Давление двести двадцать на девяносто...

— З-зараза!

— Подключаемся к системе искусственного кровообращения...

— Давление растет! Систолическое — двести тридцать!

— Фибрилляция!

— Давление падает!

— Электрошок на четыре тысячи!.. От стола!

— Без изменений...

— Пять тысяч!.. Все назад!

— Нет пульса!

— Еще раз! Все в стороны!!

Кто-то другой наблюдает за происходящим со стороны. Или, может, это последние вспышки умирающего рассудка. Я много раз видел, как это бывает, много раз участвовал в этом. Но только находился не на столе, а возле него — с контактами наготове, с закушенными под марлевой повязкой губами, с взмокшим под надвинутой шапочкой лбом, в запотевших защитных очках, со скальпелем и секционным ножом, с реберным расширителем и тампоном в зажиме, с раскрытой картой и шелестящей лентой диаграммы в руках, с переполненной «уткой» наголо — как угодно, но возле стола, а не на столе.

Ломаная линия кардиографа, которая превращается в прямую, запах паленого мяса. Контакты в сторону, руками на грудь, непрямой массаж сердца. Мгновения уходят, монотонный электронный писк...

— Все.

— Запишите — смерть наступила в девятнадцать часов пятнадцать минут.

Щелкают стягиваемые с рук перчатки. Каталка стучит колесами по кафелю.

Лязг раздвигаемых дверей.

— Где он???

— Кого вам?

— Где Спасский?!

— А, увозят уже... А вы из «керзац»? Кто вас вызвал? У него согласие не подписано.

— Это я его вызвал! Он родственник.

— Извините, не знал... Так куда, в морг?

— К нам в отделение везите его. Срочно!

— А согласие?

— Это же Спасский, это он... Он же у истоков стоял! А в бумагах ничего...

— Странно. Как если б Эдисон при свечах писал.

— Разбегаев, помолчи... Забирайте его. Только степень родства уточним давайте, и подпись ваша нужна. Вы ему кто?

— Я его дед.

— Кх-кх... то есть как? Но вы так молодо...

— Несчастный случай. Четыре с половиной года назад. Тоже через «керзац» пропустили.

— А, извините.

— Ничего. Я привык... Ладно, я сам его к нам отведу. Подпись тут?

— Да, где галочка...

— Ну, счастливо.

...вокруг ярко, светло. В прорези на окнах виднеется что-то зеленое, солнышко там светит. Вокруг белые стены, какие-то штуки торчат непонятные, экраны какие-то. Проводки разноцветные кругом. Весь я в этих проводках, и поверх одеяла, и под ним, и от меня они тянутся — и под кровать, и к какой-то бутылки длинной, которая стоит на длинном штыре слева.

И больше всего на свете хочется пить.

Губы слиплись, в горле печет.

— Пи-и-ить!

Выросли откуда-то двое здоровенных. Один лысый и в белом, а второй — в зеленом, лохматый, краснощекий, с какой-то штуковиной на шее. Блестящий кругляш с одной стороны, провод, и с другой какая-то рогатка блестячая. В руках он держит коричневого уroda. Вот уж непонятно для чего такое понадобится может. Он кажется знакомым — нет, не урод, а дядька этот в зеленом, с красными щеками.

— Дяденька, пить хочется!

— Нельзя, Славка! — говорит зеленый-лохматый сочувственно, сдвинул одеяло, вставил себе эту блестящую рогатку в уши, а кругляш мне к груди приложил.

— Холодно!

— Потерпи, дорогой. Потерпи немножко...

На вот...

Тычет мне своего уroda.

— Что это? — спрашиваю.

— Это же Штурман, — скалится зеленый, подмигивает. — То есть... Тотопка же твой. Узнаешь?

Не узнаю. «Попка» еще какая-то, глупости блинские.

— Пить очень хочется, — повторяю я просительно.

Зеленый смотрит на меня, потом на белого, потом опять на меня. Кладет мне на плечо свою здоровенную ручищу.

— Дадим пить, дадим... Славка, а ты что — не узнаешь меня?

«Легкие остаточные эффекты, должен вспомнить...», — бормочет белый. Сам с важным видом уткнулся в листки какие-то, громко ими шуршит.

Зеленый все тычет в меня своим уродом.

— Уберите от меня этого... страшного, — прошу я.

Зеленый хмыкает, убирает.

Сглотнув всухую, говорю:

— А это у вас что?

— Эм-м? — зеленый морщит лоб, вертит в руках эту свою «попку» или как там ее, потом, наконец, замечает эту штуку у себя на шее, про которую я и спросил. — А-а... это... Это, Славка, фонендоскоп...

Он откладывает коричневого страшила, снимает с шеи этот свой «фо-не-не-скоп», протягивает мне. Потом косится на белого. Белый от бумажек оторвался, улыбается, на меня глазами сверкает. Зеленый ворошит мне волосы рукой, скалится тоже. Вид у них прямо счастливый. И хотя ужасно хочется пить, мне тоже становится веселее. Думаю, все будет Оки-токи... 